

ся переворачивать окаменелые страницы фоллианта, пожелтевшие листы манускрипта, короче, поэму, кодекс, завет, какое будет при этом ваше первое замечание? Вы заметите прежде всего, что это еще не главное. Это только форма, в которую отливалось нечто другое, подобная ископаемой раковине, оттиску, который остается на камне от животного, исполненного некогда жизни и теперь погибшего. Под раковиной находилось животное, и под формой литературного памятника жил прежде человек. К чему бы изучать раковину, если бы мы не могли при ее помощи составить себе понятие о животном. Точно так же вы изучаете памятник, чтобы через то узнать человека: раковина и памятник есть не что иное, как омертвевшие обломки, и имеют ценность, как указание на цельное и живое существо. До этого-то существа следует достигнуть, и именно его-то необходимо воссоздать. Весьма ошибаются те, которые изучают памятник для него самого. Это значило бы работать в качестве присяжного ученого и заразиться библиоманией. Собственно говоря, не мифология, не язык должны обращать на себя наше внимание, но только люди, которые построили слова и образы, соответственно нуждам своих органов и первобытному складу ума. То или другое общее положение само по себе ничего не значит; обратите внимание на людей, которые его установили, и тогда, например, образ XVI в. в Англии предстанет перед вами в строгой и энергичной фигуре архиепископа или английского мученика. Все, что существует, существует в виде определенной личности; а потому пужно стараться познать ее. Когда установлена связь между догматами, когда состоялось распределение частей поэмы, или развитие конституций, или преобразование языка, – тогда можно сказать не более, как только то, что почва готова; истинная история выходит на свет, когда историк пачинает на расстоянии времен различать человека живого, действующего, одаренного страстями, вооруженного силой привычки, с известным голосом и своеобразной физиономией, с известными телодвижениями, в одежде, столь же отличной и полной, как одежда человека, ко-

торого мы только что оставили на улице. Мы должны стараться сократить, насколько возможно, тот громадный промежуток времен, который препятствует нам видеть человека собственными глазами, *глазами нашей головы*. Что скрывается под изящными страпичками сатишированной бумаги новейшей поэмы? Повеиший поэт, то есть человек, подобный Альфреду Мюссс, Гюго, Ламартину или Гейне, кончивший, как они, курс наук, совершивший путешествие в черном фраке и перчатках, хорошо принятый в дамском обществе; в один вечер он сделает до полсотни приветствий и выпустит в свет двадцать острых слов; утром читает журналы; обыкновенно помещается во втором этаже; не предается излишним восторгам, потому что он нервен и притом потому, что в этой непроницаемой демократии, в которой живем мы, французы, презрение к официальным достоинствам преувеличило свои притязания и возвысило свою важность, а также и потому, что утонченность обычных чувствований дает каждому охоту приимать себя за бога. Вот что мы успеваем подметить во всех так называемых *méditations*, размышлениях или новейших сочетах. Точно так же под трагедией XVII в. скрывается поэт, поэт, как, например, Расин, изящный, расторопный, куртизан, мастер говорить, в величественном парике и башмаках с бантом, ройялист и христианин от всего сердца, «получивший от Бога дар не краспеть ни в каком обществе, ни в обществе короля, ни за евангелием»; он умеет забавлять своего властелина, переводить ему на отличный французский язык «*le gaulois d'Amour*»; к вельможам весьма почтителен и всегда умеет перед ними «оставаться на своем месте»; угодлив и осторожен в Марли, как и в Версале, среди предписанных удовольствий природы подстриженной и декорационной, реверансов, грации и тонкого обхождения вельмож в питье, которые встают пораньше, чтобы заслужить назначение на должность в случае чьей-нибудь смерти, и очаровательных дам, которые рассчитывают по пальцам генеалогии, чтобы добыть табурета. О всем этом вы найдете довольно у С. Симона и на остатках Перелля, как сейчас видели то